

Астафьев Виктор Петрович Мною рожденный astafevvictor.ru

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

"О хитроумном Идальго Дон Кихоте Ламанчском" и не только о нем рассказ этот. И Бога ради простите, что я, выражаясь по-старинному, пишу к вам. Говорили: "Велика Россия, но отступать некуда". А тут жизнь прожита и рассказать про нее некому. Но хочется. Никогда не хотелось, однако при "окончании пути" вдруг потянуло. Одиночество доконало и меня, бабу общительную, бурную характером... Почему я выбрала в исповедники вас? Не знаю. Не только потому, конечно, что в творческой молодости своей вы бывали у нас, хотя и нечасто пивали и не только кофей. Думаю, что доверие, которое вы вызвали последними вещами у читателей, в том числе и у меня, подтолкнуло меня к этому письму. Так что сами виноваты – терпите. Начинали-то вы, как и большинство ваших сверстников, не то чтобы лукаво, но как-то отстраненно от бед и нужд народных. Быстренько пристроились к сладкозвучному хору лириков. "Мой Лизочек так уж мал, так уж мал..." – очень проникновенно пел когда-то, даже в самые черные наши годы, Сергей Яковлевич Лемешев, он и до старости не перестал петь этот прелестный пустячок. Но одно дело петь про Лизочка в шестидесятые годы и совсем другое – в тридцатые. Всюду пели. Громко пели, помогая себе не только жить и строить, но и чтоб не слышать, что делается в застенках, где люди кричали под пытками и с мученическими стонами массами погибали в краях, не всегда уж и сильно отдаленных. Выходит, песня помогала не только строить, но и не слышать муки ближнего. Чудовищно! Но стоп, стоп! Снова стоп! Я так никогда не начну письма к вам, а мне ведь надо еще успеть его закончить и отослать вместе с одной штуковиной. Итак, о себе (хватит мне хлопотать за других и говорить о других. Устала). Итак, я родилась и до четырнадцати лет росла в семье московских совслужащих. Отец мой служил по экономической части в каком-то ведомстве, имеющем отношение к оборонной промышленности. Мать моя была учителем-словесником. Обычная московская семья со средним достатком. По наследству или еще как, знать не знаю, отцу досталась обширная квартира в одном из старых домов на Рождественском бульваре и довольно хорошо подобранная библиотека. Они-то, квартира и библиотека да старомодная шляпа мамы и пенсне отца, и сыграли, как я теперь догадываюсь, роковую роль в судьбе нашей небольшой семьи. Кто-то хорошо знал маленькую семью, некоторую вольность в суждениях начитанных родителей насчет текущего момента, разговорил словоохотливых совслужащих и продал по дешевке. Я хорошо помню ту ночь и потому, что такое забыть невозможно, и потому, что накануне мне исполнилось четырнадцать лет, у нас были гости, пили чай, немного вина, и мне высокоинтеллектуальные родители подарили на день рождения книгу "Дон Кихот". Подарочное издание с восхитительными иллюстрациями Доре. Они, родители, от этой книги были без ума, а я не очень – еще не пришел мой возраст и черед для литературы такого рода. Она, эта книга, как и жизнь, лишь с первого взгляда проста, потешна и всем доступна. Словом, когда пришли они, книга "Хитроумный Идальго Дон Кихот Ламанчский" забыто лежала у дверей, на подставке старого зеркала в коридоре. Я не скажу, что все произошло врасплох, но сказать, что мы – папа, мама и тем более я – к этому были готовы, тоже не возьмусь. Это, как болезнь и смерть, – всегда неожиданно, всегда не вовремя, всегда страшно. Прополка шла по всей стране. По Москве она шла особенно ударно, и, конечно, тихо по углам об этом шептались и, как курицы-несушки на насесте, сдвигаясь, заполняя опустевшее место, надеялись, что уж кого-кого, а меня-то не возьмут в отруб и в ошип – не за что – обыкновенная несушка с телом, истощившимся от старательного труда. Есть птицы покрупнее и пожирнее. Сейчас почти вс?, пусть и не вс?, но известно, как они брали, и я повторяться не буду. Моих родителей брали, видимо, уже в ту пору, когда разгул карающего меча был широкий, размашистый, и они уже ничего не стеснялись, никого не боялись, и даже не особенно таились, понимая, что страх и время уже работают на них и честно работает на них сплоченный вокруг них передовой трудящийся народ. Обладающий новой, высокой сознательностью и моралью, он не подведет их в справедливом, очистительном деле. И он их не подвел. Часть народа, и немалая, в сопровождении конвоя и собак брела покорным табуном на бойни, другая часть тайком вздыхала, плакала или улюлюкала на митингах, проклинала, подталкивала в спины, свистела и плевала вслед страдальцам посредством радио, газет и просто так, от избытка чувств и голодной слюны. Вместе с деловитыми, спокойно свое дело исполняющими последователями железного феликса в квартире нашей появилась парочка – он и она. Молодые еще, но в себе уже уверенные. Он – младший лейтенант в новенькой шинели и в нарядном картузе военного училища, этакий блекленький паренек с голубенькими глазами и окающим говорком. Мне еще запомнились ямочки на его пухленьких, горящих от внутреннего возбуждения щеках. Она постарше его, чернявая, вся какая-то правильно-прямая и лицом тощая. Она все чокала. "А это чо, Васечка?" – спрашивала, и Вася словоохотливо пояснял: "А это, Нюсечка, трюмо", "А это, Нюсечка, унитаз называется". – "А по чо он голубой?" – "Так ведь

Астафьев Виктор Петрович Мною рожденный astafevictor.ru интеллигенция же, Нюсечка, затаившиеся буржуи, Нюсечка". – "А бильбаотека-то! Бильбаотека-то! Неужто они все книги прочитали, Васечка?" – "А чего ж им еще было делать, книжки читали да вредили, да контрреволюционные разговоры вели, Нюсечка". Я как-то так поглощенно загляделась на этих, деловито по нашей квартире шныряющих людей, так их заслушалась, что и не заметила, как осталась одна. Стою, оттесненная в коридоре, к вешалке, и мне уж нигде нет места. Тихо вдруг стало и пусто-пусто! Только те, двое, все шныряют, шныряют и удивляются умиленно: "Нюсечка – Васечка, Васечка – Нюсечка..." Нюсечка и обнаружила меня в коридоре: "А ты чо тут делаешь, девочка?" Я стою и лепечу ей, жду, мол. "Чо ждешь-то?" – "Да когда вы уйдете, чтоб прибраться..." "Васечка, Васечка! – взвеселилась Нюсечка. – Ты послушай! Послушай! Вот умора! Она ждет, когда мы уйдем. Во, глупая! Во, дурная..." Васечка, уже без шинели, в распоясанной гимнастерке со сверкающими значками "Ворошиловского стрелка", МОПРа, ГТО, ПВХО и отдельно краснеющим на груди, над кармашком, комсомольским значком, больно ткнул в мою грудь коротеньким пальцем и нравоучительно проокал: "Запомни, дорогая, – мы здесь навсегда селимся. Мы отсудова никуда и никогда не уйдем. А ты... Где твое пальтецо-то? Одевай-ко пальтецо-то и ступай, ступай себе..." – "Куда?" – "А это уж не наше дело, не наша забота..." И я надела пальтецо, шапочку вязаную надела, рукавички. Нюсечка следила, чтоб я ничего лишнего не взяла. Помню, остановилась я у дверей – страшно одной идти неизвестно куда, к кому и зачем. И вдруг увидела "Дон Кихота". Я взяла книгу, прижала к груди и спросила: "Можно мне? Можно, я возьму эту книгу?" Нюсечка выхватила у меня книгу, пошлянула палец, полистала, фыркнула: "Срамотишка-то какая!" – и, шевеля губами, прочла: – "Дорогой Леночке, доброй девочке в день ангела книгу о самом добром человеке!" "Ладно уж, – милостиво разрешила Нюсечка. – Мы тожа добрыя! Бери!" – и несильно, однако настойчиво вытолкала меня за дверь. На дворе все еще было темно, и остаток ночи я просидела на лестнице. Утром отправилась в школу. Директор школы куда-то звонил насчет меня. В тот же день меня оформили и увезли в специальный детприемник. Дальше все не очень интересно. Два года в детприемнике и специальная – заметьте, какая я спец! – и специально-исправительно-трудова колония для подростков. Мне восемнадцать – и специально-воспитательно-трудова колония для женщин, уже без обозначения возраста, но все же "специальная". В этой "специальной" я не выдержала и кончала жизнь самоубийством, но, видимо, несерьезно кончала и попала в специальный изолятор, где встретила с человеком, который во время первомайской демонстрации намеревался метнуть букет цветов с хитро заделанной вовнутрь гранатой на трибуну Мавзолея и убить товарища Молотова и товарища Кагановича. Почему Молотова? Почему Кагановича? А не всех сразу? Граната же! Сила ж! Сколько товарищ этот ни доказывал, что дальше пятнадцати метров никогда ничего не кидал, а от демонстрантов до трибуны Мавзолея саженой сто, не меньше, тем более граната-то еще и в букете – цветы мешают полету, парусят... Но там и не таких коварных врагов раскалывали, этому быстро доказали, что враг может все, и ничего ему не стоит даже государство взорвать, а не только букет на трибуну Мавзолея кинуть. Он тут же все осознал и признал, что да, каких только чудес на свете не бывает, теоретически возможно метнуть букет не только на Мавзолей, но аж через Кремлевскую стену. Покуситель этот на жизнь вождей мирового пролетариата нигде не бывал, ничего делать не умел, баловался стихами, сочинял что-то и быстренько "дошел" в Коми-лесах до полных кондиций. Когда я, вынутая из петли, обнаружила его в лагерной больнице, ни в нем, ни на нем уже ничего не держалось, рот от пелагры распылен... Он был еще несчастней меня, и, как ни странно, я его выходила, ну и, вполне естественно, выхаживая его, ожила сама. Мы полюбили друг друга. Вы, конечно, помните: "Она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним", ну так это про нас с Олежком – так звали моего возлюбленного. Он имел "червонец", не денег, нет, а десять лет сроку и пять – поражения в правах. У меня была "пятерка" – за принадлежность к контрреволюционной организации, стало быть, к нашей погибшей семье. Когда моя "пятерка" завершилась, я сделалась вольнопоселенцем, отъехала маленько от тайги, поступила корректором-машинисткой в типографию и стала допытываться у возлюбленного: может ли он хотя бы прозой писать что-либо? О стихах не спрашивала – какие стихи на лагерных харчах?! Возлюбленный подумал и пообещал попробовать себя в прозе. Посмотрела я его прозаические опыты и увидела, что насколько они не хуже тех творений, что печатались в нашей типографии. И подбила я своего суженого написать в свободное от работы время о стахановском труде на лесозаготовках. Поскольку здоровье у него с детства было никудышное, но как в народе говорят, – "квельый, да башковитый", то первый роман он написал, находясь в лагерной больнице. Самые вдохновенные страницы того творения я зачитала начальнику политотдела "Ухталага", и он рассудительно заметил, что книга нужная народу, однако сыроватая и трудового пафоса в ней недостает. Я сказала, что насчет пафоса автор действительно того, слабоват, да и где ему было набраться –

Астафьев Виктор Петрович Мною рожденный astafevvictor.ru с восемнадцати лет по лагерям и больницам. Вот он, начальник политотдела, весь из одного пафоса состоит, так и поделился бы им с автором, а он бы за это сверх своей фамилии его фамилию.. Задумался гражданин начальник, еще раз перечитал рукопись и вспомнил о совсем почти забытом русском слове ЧЕСТНОСТЬ. Гражданин начальник солидно заметил, что он там, в рукописи, кое-что подкорректировал, однако ставить свою подпись не станет – несолидно это, не по-партийному: один человек работал, старался, а другой возьмет и воспользуется плодами его труда. Но помочь даровитому автору обещает. Хи-итрая я баба стала, ох хитрая! Попал мой Олежек в больничные санитары – мечта советского интеллигента со средними творческими способностями! Затем и на вольнопоселение попал, не спрашивал, чего это мне стоило и какими путями я этого результата достигла. Насчет морально-этических норм, сами понимаете, в тех отдаленных Коми-лесах не очень-то уж строго и чопорно дело обстояло. Н-да-а! Сдохла бы я, наверное, повесилась бы еще раз, но уже понадежнее, да дитя-то, мною созданное, можно сказать, рожденное, Олежка-то, куда же? Спасал он меня, спасал! И еще один хороший человек мне помогал всю дорогу – старый-старый дяденька – "Дон Кихот Ламанчский". Так и пронесла я ту книжку через все спец-воспитательные предприятия и организации, через все беды и расстояния. Помните, что говорит о себе старый пират Билли Бонс из бессмертной тоже книги "Остров сокровищ", умирающий от апоплексического удара в трактире "Адмирал Бен Боу" и требующий у доктора рому? А доктор, помните, очень грамотно его увещевает: "Слово ром и слово смерть для вас означает одно и то же". А пират; "Все доктора – сухопутные крысы... Я бывал в таких странах, где жарко, как и кипящей смоле, где люди так и падали от Желтого Джека, а землетрясения качали сушу, как морскую волну... И я жил только ромом, да! Ром был для меня и мясом, и водой, и женой, и другом". Меня особенно умиляет, что ром был пирату женой и другом. Умели же люди писать! А мне там, где люди особенно изнахраченные, растерзанные дети дохли от произвола, гнили от недоедания, морозов, вшей и всякой разной человеческой мерзости и проказы, мне помогал мой "Хитроумный Идальго Дон Кихот Ламанчский", которого много раз у меня изымали, но скоро возвращали. Этот тип человеческий был непонятен и чужд тем благодетелям, что окружали меня и вели политико-воспитательную работу среди провинившегося народа. Лишь одна бандерша-зверина с довольно смазливой обликом женщины, выгнав мою слабость, отнимала и прятала моего "Дон Кихота". Я его выкупала за пайку. Я стала слабеть, и бандерша, как древние разумные кочевники, грабившие мирян, оставляя им половину урожая, чтоб не погибли кормильцы, милостиво отделяла мне половину пайки. Но. не глядя на всякие благодеяния, я дошла до того, что пыталась повеситься, да поясок от халата не выдержал моего хилого тела, порвался, однако, шею я себе свернула и с тех пор ношу свою головушку косо, оттого и делаю пышные прически, крашусь под алую, революционную зарю – все хочу скрыть дефекты моего недостойного прошлого. С поселения мы съехали сразу после войны. В столицах нам жить не разрешалось, здесь же, в старом губернском городе, тетя и дядя Олежки домаивали срок свой земной. Терять им было нечего. В этой жизни они уже все потеряли. У них отняли дом, имя, гражданство, возможность ездить и ходить куда им хочется. На высылке эти кулаки потеряли детей, молодость. Им даровано было право работать только на химическом комбинате. Здесь они и добывали последнее здоровье. Они нас приютили. Мы их скоро и похоронили. В том старом губернском городе срочно создавалась писательская организация, отовсюду собирались таланты. Мой романист тут пришелся впору и к месту. За два романа о героических делах лесорубов, о строителях-железнодорожниках и за поэму в прозе о походе за сокровищами земли советских геологов был Олег Сергеевич принят в Союз писателей. Его даже на Сталинскую премию выдвигали, но не потянул молодой автор до наградных высот – сомнительное прошлое опять помешало. По другому или по третьему, может, по десятому заходу началась облава на "бывших". Моего романиста тоже было за холку взяли, да и меня с ним заодно, однако на сей миг у нас была заготовочка в виде посвящения нового романа дорогому и любимому генералу, тому самому, что помог молодому автору в начале творческого пути делом и советом. Ныне этот чин трудится уже в Москве, в высоких сферах. О нас он и думать забыл, да все равно посвящение-то подействовало. Отлипли от нас бдительные товарищи, надо думать, уже навсегда, хотя все еще не верится, покой нам чаще все только снится. Дурен, отравлен этот свет, напугана, сжата, боязнью пропитана душа российского человека. И это уже навсегда. И будь у нас дети, им перешел бы по наследству наш богатый душевный багаж. Но не судил нам Бог с Олежкой продолжения, и спасибо Ему – зачем нашей героической родине еще один трусливый обыватель? Она и без того задыхается от надсады, от скопища задержанных слабых людей. Спасибо высоковоспитательным колониям, где девочек пачками брехотили высокоидейные воспитатели-марксисты, не менее гуманные советские врачи пластали их на гинекологических креслах так, чтоб больше "никаких последствий" не было.

Астафьев Виктор Петрович Мною рожденный astafevvictor.ru

Спасибо! Спасибо! И слава Богу, что пусть едва теплящаяся творческая потенция все-таки в человеке сохранилась, и хватило Олега Сергеевича на романы сказочно-романтического направления – они давали ему возможность сладко кушать и мягко спать. И вы напрасно его поругиваете то словесно, то печатно, совсем напрасно. У вас накопилась биография, у него ее нет. Ту жизнь, что провел он в лагерях по справедливому приговору самого гуманного, самого изысканного за всю историю человеческую суда, Олег Сергеевич помнит плохо. Он ее провел в бредовом сне, в бесчувствии и укладывается она у него в два слова: "Кошмар и ужас. Ужас и кошмар". Я все сделала, что могла, чтоб он забыл тот кошмар и не вздумал его "отражать". Росточки его таланта так вешними, детскими и остались. Тяжелая работа не по нему, она его раздавит. "Кирпич" про балерину, сломавшую ногу, и про старого путейского инженера, жившего с нею в одном доме, которые нежно друг по другу страдают, а на восьмисотой странице, измученные вздохами, наконец-то соединяют свои судьбы, – вот это литература! И запомните, вы с ним, Олегом Сергеевичем, начавшим восхождение в литературу, но совсем с другого конца, у него читателей было, есть и еще долго будет больше, чем у вас, у сурового, или, как Олег Сергеевич этически именует вас, – густопсового реалиста. Наш лучший в мире, среднеобразованный читатель устал от суровой действительности, ему тоже хочется, хоть не в натуре, хоть на бумаге, сладенького, тепленького, ласкового. Ему и доставляют продукцию на дом, по вкусу и по душе такие трудяги, как Олег Сергеевич. Умоляю, – не трогайте вы его больше – он выстрадал свою благоустроенную жизнь, ему – внимание читателей, сладкая еда и деньги. Вам – угрюмый, одинокий труд, слава, почет. Счититесь уж вы славою-то – свои же люди! Он ведь вам не переступает дорогу, не мешает любить и ненавидеть, писать как вам хочется. Вот и творите разумное, доброе, вечное – "всякому свое" было написано на воротах одного из таежных строгих лагерей. Оказалось, что и это плагиат – списано с ворот фашистского лагеря смерти. Так не будете больше обижать мое дитя? Обещаете? Ну вот и молодец! Вот и умничка!.. Это мне надо, понимаете? Я должна быть уверена, что дитя, мною созданное, не пропадет без матки, которую он высосал до дна и не заметил этого. Я это к тому, что дни мои сочтены. Побывала я в том заведении, которое зло именуют "Блохинвальд", и все про себя знаю. Соцреалист мой благоустроен и пристроен. Любить-то он, как и многие современные особи мужского пола, не умеет, ненавидеть – тем более, но блудить, как и все творчески забывчивые личности, в свободное от работы время горазд. Пока я моталась по больницам, Олег Сергеевич завел себе Аллочку из детской библиотеки. Аллочка из простой совсемьи, не избалованная матблагами, умеет варить, стирать, содержать в чистоте квартиру, главное, печатать на машинке. Машинка-то, видать, и свела их. Раньше все печатала я и, вежливо говоря, маленько "корректировала" тексты творца, то есть незаметно правила – не любит мой романист, в отличие от вас, работать над текстом, да и когда ему это делать? Надо каждый год выдавать по книге. Романы же его одноразового пользования – они почти не переиздаются. Вот и убирала я в рукописях хотя бы самые вопиющие нелепости. Но Аллочка-то в рот романисту смотрит, все, что им написано, шедеврами почитает... Да Бог с ними, как-нибудь на этом свете разберутся, главное, на надежных руках я свое дитя оставляю. В Москве я не останусь. Туда, к ним поеду. Домучиваться. Олег Сергеевич, знаю, пышно меня похоронит и оплачет. Капнет его теплая слеза на эту холодную земелюшку, может, просочится сквозь комки и хоть чуточку согреет меня. Коли на этом свете мне ни тепла, ни уюта не было, так хоть там немножко... К концу дело идет, не пугайтесь... Узнавши, что дела мои плохи, еще острее заболела я, еще одной неизлечимой болезнью русских людей – ностальгией. По прошлому. Коли у меня прошлого почти не было, я придумала его, и помогал мне в этом деле, хорошо помогал мой "Хитроумный Идальго". Словом, потянуло меня, как вы догадываетесь, на Рождественский бульвар. Нашла я наш дом, постояла во дворе и испытала все, что можно испытать в таких случаях, да и понагличала – смертнику же все можно! – позвонила в дверь, обшитую уже после нас багровым дерматином и означенную номером из медного иль даже позолоченного металла. И все что угодно могла я ожидать, только не это – дверь мне открыл знакомый по экрану известный киноактер, чего-то жующий. Смотрит на меня ясным, взыскующим взглядом. "Здравствуйте!" – говорю я. "Здравствуйте, здравствуйте! Вам чего? Автограф? Ручка есть?.." А я уж и стоять не могу. Напореживалась. "Впустите, – говорю. – Я по важному делу". Посторонился артист, впустил. Смотрит уже пристальней: "Вам, может, валокордину накапать?" – "Накапайте", – говорю. Выпила капли. Стою в коридоре и не могу понять, отчего в нем так тесно? Поняла наконец – библиотека в коридоре. По новой моде хрусталь в комнату, Пушкина и Толстого – в коридор, к двери. Старые книги, добрые книги – вместе с обувью. Запылились. И вообще запустение в квартире жуткое, запах тления сшибает с ног. "Вы – один?" – спросила я киноартиста. "Один. А кого же мне еще?" Не сын ли уж тех хозяев, думаю, парень этот? Говорок похож, волос светел, но

Астафьев Виктор Петрович Мною рожденный astafevvictor.ru более сродственного как будто бы ничего нет. "Зять я, зять, – объяснил мне всеугадывающий артист, потом подумал и добавил: – С которого нечего взять. – Подумал и еще добавил: – Кроме таланта". Мне веселей стало. С талантами я управляться умею. Навыкла. "Вам, – спрашиваю, – когда-нибудь рассказывали о тех, кто здесь жил прежде?" "До революции, что ли?" "Да нет, – говорю, – до революции таких, как ваша теща и тесть, еще не было, не успели они еще на свет появиться". "Верно, – говорит артист, – они моложе. Но вроде бы всегда тут жили, вечно". "Они собирались жить вечно... Разрешите мне..." – показала я вдаль. "Валяйте! – разрешил артист. – Да не разувайтесь, – и всхрикнул: – Здесь не разуваются, здесь только раздеваются..." "Ну я, – говорю, – нарядилась за свой век. Не гожусь уже по этой части..." Одним словом, побеседовали мы по душам. Рассказала я этому артисту все и он кое-что мне поведал. Расстались друзьями. Есенина он мечтает сыграть в кино. Тренируется. На магнитофоне. С одного конца – подлинный голос Есенина записан: "Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть! Что ты? Смерть? Иль исцеление калекам? Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека..." А с другого конца восторг артиста: "Гой ты, Русь моя родная, хаты – в ризах образа... Не видать конца и края, только синь сосет глаза..." – и почти неотличимо. Ликом схож с Есениным мой артист, в профиль показался – вылитый покойный поэт. "Проведите, проведите меня к нему! – орет вслед за поэтом хозяин. – Я хочу видеть этого человека!..." Я ему говорю: "Не надо, Валентин Иванович. Не трогайте Есенина. Нужно жизнь его выпеть и выстрадать, чтобы..." "Ага, ага! Уж нетушки, нетушки! – расходился артист. – Пока выстрадаешь, и возраст есенинский пройдет. Он, голубчик, изловчился ржаную Русь в такую рань покинуть. Сколько уж нашего брата собиралось, но пока во ВГИКе да возле него колотятся, пока сниматься начнут, пока авторитет завоеуют... Семья, дети, суета, глядишь – и ку-ку!.. Не-эт, от меня Серега не уйдет! Я его осаврасю!.. „Мне приснилось рязанское небо и м-моя непутевая жизнь...“ Ах, Господи!" "Елена Денисовна, я вам пленочку по почте пришлю на память, вам можно и нужно ее иметь. Вы-то выстрадали мою исповедь, а уж я как-нибудь своим умом обойдусь. До свиданья! До свиданья! Заходите, заходите... как к себе домой..." "Да нет уж, Валентин Иванович, не могу я больше зайти... не осилю. Дайте-ка поцелую вашу буйную головушку. И уходите, уходите отсюда, если хотите сыграть светлого поэта, пропеть его ясную душу, осветить его беспутную жизнь... За Оку, где уж, правда, не плачут глухари, деревни там пустые русские плачут, на родину его ржаную ступайте, подышите чистым воздухом, погорюйте, поплачьте... Вот и все. Надеюсь, не очень замучила вас? Вместе с этим письмом я посылаю вам пленку, подаренную Валентином Ивановичем. На ней не стихи, не сольские бредни Валентина Ивановича, на ней матерьяльчик, да такой, что моему разнеженному романисту умишко разжулькает. Господь уж с ним! Пускай сливочки ложечкой черпает. И все же самую большую мою ценность – „Хитроумного Идадьго Дон Кихота Ламанчского“ – я оставляю ему. Вам уж, видно, судьба определила все только горькое вкушать и тащить на себе тяжкий воз гремучей правды. Да много-то не наваливайте на хребтину свою. Хоть и мужицкая спина, но ломается, ее раздавит, сомнет наша славная, емкая правда. Много ее накопилось, а таких, как вы, мало народилось. Простите меня навечно. Храни вас Бог". * * * Рассказ Валентина Ивановича Кропалева, известного киноартиста, так и не сыгравшего Есенина на экране, названный им самим – "Возмездие", записанный им самим на магнитофонную пленку – в назидание потомкам: "С чего и начать – не знаю. Начну, пожалуй, без интриги. Рожден северной деревней. Школа. Самодельность. Агитбригада, одержавшая на всесоюзном смотре творческую победу. С третьей попытки поступление во ВГИК, к великим педагогам – Герасимову и Макаровой. Общежитие. Рижский вокзал. Разгрузка вагонов. Недоеды. Недосыпы. Гулянки. Веселье. Была у Сергея Аполлинарьевича одна замечательная особенность: он всю вгиковскую группу забирал на съемки своих картин – кого снимать, кого плоское катать, кого круглое таскать, кого освещать, кого администрировать, чтобы удобрить и подкормить свой посев. Я долго таскал и катал. Потом освещал. Потом администрации помогал. Потом в массовку попал, потом в эпизод, а на четвертом курсе и роль получил, молодого, смертельно непримиримого и беспощадного к врагам революции чекиста. Научился кожанку носить, из нагана холостыми патронами палить, на коне скакать. Премьеры! Аплодисменты! Творческие встречи! Автографы! Банкеты. Восторженные поклонницы.. На поклоннице я и спекся. Звали ее Викой, Викторией. Победа, значит. Сокрушение лирического полу. Я и оглянуться не успел, как оказался в постели, потом – в генеральской квартире. Увы, увы, Василий Васильевич Горошкин к периоду моего восхождения к вершинам кино и вашему возвращению из Коми-лесов взшел уже к своим вершинам. Нюсечка, Анна Ананьевна Горошкина, к той поре тело пышно обрела, или телесную опухоль, на спецхарчах из закрытого спецраспределителя для избранных личностей. Я сначала ничего не помнил, только ел и гулял, гулял и ел. А меня хвалили и показывали знатным гостям, как знаменитость среднего достоинства, вместе с твякающей

Астафьев Виктор Петрович Мною рожденный astafevvictor.ru
Булькой – болонкой, умеющей ходить на задних лапах и даже плясать под святочный марш Дунаевского „Утро красит нежным светом“, показывали вместе с иконами, африканскими масками, хрусталем, коврами и другими материальными ценностями. Юга, курорты, спецдомики под названием „охотничьи“, лихая стрельба в заказниках, шашлыки, сырая звериная печенка. Киноведы в штатском. Официантки всех национальностей, форм и расцветок. Пьяные объятия. Поцелуи. Похлопывания по спине широченных начальственных ладоней... Очнулся – не снимают. И не зовут сниматься. Сергей Аполлинарьевич и Тамара Макарова отворачиваются, руки не подают. Протесты. Жалобы. Истерики. Раздумья. Терзания. Зависть. Творческий застой. Первый длительный запой. Упреки. Подозрения. Неоправдавшиеся надежды. Баба моя – Виктория – начинает кричать. Потом посуду бить. Пробует и меня бить. Однажды из-за ревности чуть нос мне не откусила. А куда же артисту без носа-то? Стал я задумываться. Петь Николая Рубцова под гитару: „Буду поливать цветы, думать о своей судьбе...“ Раздумья были результативны. Я оглянулся окрест, и сердце мое содрогнулось: в какой же я свинарник по пьянке залез! Есть у одного, уже покойного, поэта, близкого мне по запоям, замечательное стихотворение о Мадонне Рафаэля. Это, значит, давняя уже история. Перед тем, как увезти обратно, вернуть немцам сокровища Дрезденской галереи, захваченные, – ой, простите! – спасенные нашими доблестными войсками, народу их показывали на прощанье и отдельно показывали великую Мадонну. Я ее тоже видел, но не скажу, что высоко оценил. Из деревни ж совсем недавно. Мне тогда руганый-переруганый Лактионов был ближе, чем божественный Рафаэль. Да-а, и вот, значит, ходит и ходит один гражданин советский запущенного вида, глазает на прекрасную Мадонну. Аж подозрительно – чего он столько ходит-то? А тот ходил-ходил и: В торжественно гудящем зале, где созерцалось божество, он плакал пьяными слезами и не стыдился никого. Он руки покаянно поднял, он сам себя казнил, крушил: „Я понял, – он кричал, – я понял, с какими стервами я жил!“ И я, как тот персонаж забытого стихотворения, тоже вдруг, о, вечное благодарствие этому вечному „вдруг“, понял, где я нахожусь. Затем пытаюсь понять, что со мной? Зачем я здесь? А это уже гибель для персонажей данного сценария и жителей генеральского обиталища, – такие громады, как Василий Васильевич Горошкин, природой созданы не для того, чтобы думать, нет у них такого инструмента, которым думают, как у некоторых северных народностей не имеется элемента или железы, способствующей брожению овощей и всякой такой хмельной фактуры. Они ж мясо да рыбу едят и оттого погибают быстрее нас от алкогольных веществ. Оглянулся я, стало быть, окрест... Тихо на генеральской хазе, враждебно, больно и сумрачно. Генерал дома сидит – на досрочной пенсии, овсяную кашу варит. Нюсечка, теща моя, в стоптанных тапочках и в расстегнутом халате по пыльным комнатам бродит, матерится, курит, без конца звонит, новую домработницу ищет. Жизнерадостная болонка Булька сдохла от недогляда. Баба моя, енаральская дочь, тоже где-то бродит, что-то ищет. С нее, с дочери-то, и начались качание и крен непотопляемого генеральского фрегата, без остановки першого по морям, по волнам бурной современности, напрямиком в светлое будущее. Стали возвращаться из вами обжитых Коми– и других прочих лесов и тундр некоторые уцелевшие и не все память потерявшие репрессированные граждане. Не перевоспитанные до конца, не заломанные до основания, как ваш супруг, начали они не только романы строчить про ударные стройки в таежных даях, но жалобы строчили, петиции, требовали ясности, отмщения, справедливости. И выяснилось, что папочка – наш Васечка – не за просто так готовое жильё со скарбом отхватил. Благородной души создание (человеком эту падлу я не могу назвать), Васечка усердно отработывал жильё и имущество. Выяснилось, что на Лубянке редко кому удавалось превзойти его в жестокости. А тут бац! – моя баба, енаральская дочь, любившая крепкую еду, веселые компании и много на себе всякого барахла и блеска, была в нашем родном Доме кино остановлена одним „бывшим“ режиссером и на ней опознаны были сережки жены режиссера. Крик. Истерика. Мордобой. Расследование. Нет жены режиссера. И концов нет. Зато там и сям по квартирам и дачам у лиц, неистово борющихся за справедливость, за совесть и честь советского гражданина, обнаруживается золотишко, именные ценности, произведения искусства, древняя утварь, книги, ружья, кинжалы, и даже паникадило из взорванного собора было наконец-то обнаружено. Хрущев Никита. Двадцатый съезд. Доклад. Прения. Возмущения. Негодование. Встряска. Пьянка. Переустройство аппарата. Воскресение общественного сознания. У Василия Васильевича Горошкина снимают половину пенсии и изгоняют его из рядов капээсэс. Василь Васильевич сперва дома орал, потом по телефону: „Мало мы их, мерзавцев, стреляли!“ Телефон отключают. Дачу отбирают. Все гости и друзья сей дом покидают. Я потихонечку, полегонечку от своей бабы и генеральских объектов делаю атанде. Шляюсь по Москве. Начинаю работать, соглашаясь сниматься в фильмах о неутомимых нефтеразведчиках, об азиатских кроваждных басмачах, где вдохновенно изображал большевика Василия, день и ночь рассуждающего о ленинизме, без усталости стреляющего богачей, умиротворяющего дику

Астафьев Виктор Петрович Мною рожденный astafevvictor.ru азиатчину и на лихом рысаке, со знаменем в руке въезжающего в бедные кишлаки под крики „ура“ и „ассалам алейкум“; играл честных и непримиримых милиционеров, даже на роль миллионера-капиталиста единожды пробовался, но мордой не вышел. Баба моя, енаральская дочь, благодаря моей „руке“ перезнакомившаяся „с кино“, все чаще и чаще улетает на юг – джигитовать. Прошу прощения! Забыл одну существенную деталь. Когда умерла Булька и в генеральском доме поднялся стон и плач по покойнице, я, в утешение дорогой теще Нюсечке, принес ей сиамского котенка. Его кто-то моему, тогда еще живому, приятелю-поэту подарил. Но не кормил и не поил поэт животное – самому жрать нечего. Я и забрал котенка и принес от всей души дорогой теще в день ангела. Котенок вырос и оказался голубоглазой кошкой, которую теща моя – Нюсечка – любила больше всех людей на свете. Даже когда наступила разбухшими ножищами на детей своей любимицы, даже когда та порвала ей жилы и сухожилия на ногах, не позволила мужу уничтожить зверину. Я что-то замотался, отвлекся от дорогой семьи, сам стал заниматься режиссурой, одну уже картину склеил, ко второй готовился, – глядишь, к старости лет и до киношедевра доберусь. Я из крестьянской землеройной семьи. Упорный. К родственникам не хожу. Телефон у них обрезали и не ставят. Однажды вдруг – опять вдруг! – встречаю свою нестарющую, развеселую жену в компании кавказских киноджигитов, и она мне сообщает новость: папа ее ободрился, телефон ему обещают вернуть, кричит всем, что не зря в справедливость верил и надеялся; народу и партии еще понадобятся такие ценные кадры. Может, и понадобился бы Василь Васильевич Горошкин, и пенсию ему восстановили бы, но он от скуки начал писать патриотические поэмы разоблачительного направления, и однажды его увезли в спецсанаторий, „откуда возврату уж нету...“. Мама Нюсечка теперь все время с кошечкой. Ноги ее совсем не ходят. Лежит, романы про любовь да про революцию читает и просится на юг – грязями лечиться. Енаральская дочь слезно просила, чтоб кто-нибудь из киногруппы помог загрузить в вагон больную и беспомощную мать. Она хорошо заплатит. Пришел я с приятелем на Курский вокзал. Погрузил дорогую тещу с кошечкой в отдельное купе. „Есть же на свете люди, которые зла не помнят“, – растрогалась теща. Заметил, что голова тещи лежит на ультрасовременном дипломате аглицкого производства, и обе они, с дочерью, весьма заботливы к тому чемоданчику. „Золотишко!“ – допер я. Подозревал и раньше, что в родительском доме не все на выцелк, напоказ держится, есть кое-что и секретное, да не доискивался. Куда? Зачем мне это? Мы любое золото пропьем с люмпенами „Мосфильма“. За услугу мою бескорыстную пообещала мне енаральская дочь дать давно обещанный развод. Прошел год, может, два. Я на съемках был в Тверской губернии. Телеграмма мне: „Валентин, прошу тебя появиться, это очень серьезно. Вика“. Я какой-то суеверный, дерганый сделался, бояться стал всего, что связано с семейством генерала Горошкина. Объявился. Генеральская дочь одна в квартире и лицом что ночь темная, духом подавлена, телом растерзана. Не стало моей тещи – Нюсечки. Исчезла теща. Испарилась. Вика по срочному вызову умчалась на юга и подзадержалась там. Мать осталась одна, и у нее, по-видимому, случился приступ. Телефона нет. Заходить к Горошкиным давно никто не заходил, замков на двойных дверях дюжина. Женщина и умерла возле двери. Здесь обнаружилось ее косточки родное дите, когда вернулось домой. Генеральшу съела любимая сиамская кошка. Дотла съела. И одичала. Увы, не жаль мне ни тещи, ни тестя, ни дочери ихней, ни даже кошки, да и себя уж как-то мало жаль. Я незаметно испоганился, обрызг душой и телом, во мне все истрепалось, будто в рано выложенном жеребенке. И когда генеральская дочь снова отыскала меня и попросила: „Валентин, поживи в квартире, потвори. Я съезжу кой-куда в последний раз, и развод тебе дам. На этот раз железно обещаю“, – я опять сдался. Она все еще не теряла надежды найти на югах богатого спутника жизни. Но южане шалить горазды, однако от семейных уз уклоняются, не то что мы, растяпы, – еще и не распробовали ладом, а нас уж в загс, под расписку!.. Вот так и оказался я там, где вы меня застали, любезная Елена Денисовна. Вот так вот, литературно выражаясь, и перекрестились наши судьбы. Жена моя, бывшая генеральская дочь, нашла-таки чернявенького верткого торгаша, моложе ее лет на пятнадцать. Этот базарный джигит скорее всего обернет генеральскую дочь, завладеет московской квартирой и отравит ее или утопит в теплых водах родного моря. Да мне-то что? Меня она ослобонила. Развод дала – и это главное. Но не свободен мой дух, совесть моя отяжелена воспоминаниями и на всю жизнь отравлена генеральским сдобным харчем. Хочу от этого освободиться посредством опять же всевыносливого кино. Склею фильм про семейство генерала Горошкина и сыграю в нем самого себя. Думаю, что вы согласитесь: хотя бы эта-то роль выстрадана мною и заслужена. Великого русского поэта сыграть не достоин – реализуюсь в подонке. Сценарий написан, план есть, и только никак не могу придумать, как научить кошку жрать покойника? Где труп взять? Может, денег накопить да за границей сторговать? Там же ж все продается и покупается. У нас за труп засудят и засадят. Покойников у нас всегда жалели и любили больше, чем

Астафьев Виктор Петрович Мною рожденный astafevvictor.ru живых. Засим до свидания, Елена Денисовна! Будете в Москве, заходите. У меня есть маленькая квартира в Мосфильмовском переулке, что-то вроде жены есть, даже и киндер есть, на меня и на Есенина похожий. Он будет расти и жить в другие времена, с другим народом, и может, удостоится роли великого поэта или сделает что-нибудь путное на ином поприще. Во всяком разе, я постараюсь воспитать его так, чтоб он прожил жизнь не так, как я, и не был бы никогда и ни у кого прихлебателем и шестеркой. Низко и преданно Вам кланяюсь – Ваш нечаянный квартирант Валентин Кропалев". * * * ...Лет пять тому назад я побывал в старом губернском городе, где начиналась моя послевоенная и творческая жизнь. Среди многих дел и встреч не забыл я навестить и Олега Сергеевича. Старый, облезлый, совсем почти слепой, он по голосу узнал меня, обнял, заплакал, мелко трясся головкой, разбрызгивая слабые слезы, пытался вымолвить: "А Леночка-то... Леночка-то..." Я попросил его сводить меня на новое кладбище, где среди многих уже могил моих товарищей по войне, по труду на заводе, в газете и в литературе, постоял и перед могилой Елены Денисовны. Роскошно было убранство могилы. На памятнике, сделанном в виде развернутой книги, на одной странице из синевато-серого мрамора было крупно выбито: "Незабвенной Елене Денисовне – Дон Кишоту наших дней?". На другой странице золотая лавровая веточка. Ниже – красивым витым почерком писана эпитафия, старательно подобранная самим безутешным вдовцом: "Я видел взгляд, исполненный огня. Уж он давно закрылся для меня. Но, как к тебе, к нему еще лечу, и хоть нельзя, смотреть его хочу". М. Ю. Лермонтов. По бокам каменной книги стояли тяжелые мраморные амфоры, покрытые серебряной пылью – под древность. Олег Сергеевич и Аллочка садили в те вазоны цветы, но кладбищенские мародеры срывали их, и тогда они догадались втыкать летом – в землю, зимою – в снег алые розочки из пенопласта. Их еще не крали, но слышал Олег Сергеевич, что в столицах уже все с могил воруют, даже деревца выкапывают, и скорбящие люди проявили рациональную сметку: режут и рвут цветы на клочья, но он, Олег Сергеевич, этого делать ни за что не станет, и пока его ноги ходят, не устанет он каждый день носить цветы на печальную могилку и плакать по святой, нетленной душе современного Дон Кишота. Олег Сергеевич так и не сдался, так, по-старинному, по-благородному и произносил имя всевечного чудака и бессмертного героя человечества. 1987

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!